

Владислав
Отрошенко



ДВОР
ПРАДЕДА
ГРИШИ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Владислав Отрошенко
Двор прадеда Гриши (сборник)

«Автор»

2010

УДК 821.161.1- 93
ББК 84(Рос=Рус)6

Отрошенко В. О.

Двор прадеда Гриши (сборник) / В. О. Отрошенко — «Автор»,
2010

ISBN 978-5-902976-43-1

Рассказы Владислава Отрошенко, вошедшие в этот сборник, объединены темой детства. Память о детских годах, проведенных на Донской земле, обогащается мифотворящим воображением писателя. Рассказы заслужили успех у российских и зарубежных читателей, переведены на несколько языков. Книга для семейного чтения, адресована прежде всего взрослым читателям.

УДК 821.161.1- 93
ББК 84(Рос=Рус)6

ISBN 978-5-902976-43-1

© Отрошенко В. О., 2010
© Автор, 2010

Содержание

Двор прадеда Гриши	6
Шельмы гадские	6
Дурак	8
Сокровища	9
Музыка	11
Видение	13
Счастье	15
Кража	17
Кикимора	18
Тот свет	20
Песня	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Владислав Отрошенко

Двор прадеда Гриши. Повести и рассказы

Авторы проекта

Ирина Арзамасцева, Юрий Нечипоренко, Лев Яковлев

© Отрошенко В. О. Текст, 2010

© Арт Хаус медиа, 2010

* * *

Проза Владислава Отрошенко уже нашла многочисленных почитателей в России и далеко за её пределами.

Этот сборник сложен из рассказов о детстве, о том, как жизнь, смерть и любовь открываются пятилетнему ребенку и двенадцатилетнему подростку. Детская вселенная в рассказах Отрошенко является разом вся, от пчел, куполов и звезд до подвалов; она равна вселенной старика, оставляющего землю. И неисчерпаемо богатая речь слышна ребенку вся, он внимает всем родным словам – медовым и перчёным. Из единства мира и языка, принадлежащих каждому из нас по праву рождения, писатель создал завораживающее художественное пространство, в котором реалистичное описание, переполняясь чувственными впечатлениями, перетекает в предание и миф.

Книга предназначена прежде всего взрослым – чтобы вспомнили себя целиком, при этом, как показывает опыт, и детям она способна принести радость.

Ирина Арзамасцева

Двор прадеда Гриши Десять новелл и эпилог

Шельмы гадские

В самом начале весны умер наш сосед Николай Макарович. Вышел во двор чистить снег, махнул туда-сюда лопатой, упал и умер. Прадед мой, Гриша, очень огорчился. Он Николая Макаровича любил. Пил с ним медовуху, учил его с пчелой толковать. Прадед всегда разговаривал с *ней* уважительно, а уж если бранил, то ласково. Полезет в улей – *она* его жалит куда попало, а он приговаривает: балуй мне, балуй! Николай же Макарович ругался с пчелами нещадно. Бывало, только достанет из улья рамку с сотами и уже кричит на весь двор: «А-а-а, шельмы гадские!» Это было его всегдашнее ругательство, без которого Николая Макаровича и представить невозможно. Залезут ли коты к нему в голубятню или чёрт в трубе застрянет, да что бы ни случилось – он как выскочит со своей клюкой и давай подметать всех подряд:

– А-а-а, шельмы гадские!

Я его за это не любил, то есть за то, что он клюкой дрался. Но больше всего я не любил его за кадык. У него была тонкая, длинная и голая шея. Она всегда торчала из воротника, точно палка из колодца. А на этой шее – представляете? – огромный и острый кадык. Когда он пьёт, ест или горланит свою шельму, кадык так и ходит под тонкой кожей, будто там гадина какая ползает, б-ррр! Ну вот я и рад был, что он умер.

Он всё прадеду пенял:

– Зажился ты, Григорий Пантелеевич, когда помирать-то будешь, курва?

А тот отвечал:

– Шут его знает, Коля.

Прадед Гриша был очень старый и не помнил своих лет. Николая Макаровича это забавляло. Иной раз возьмется его донимать: девяносто тебе будет? а сто – будет? Бедный прадед Гриша сидит, глазами хлопает, делает вид, что старается что-то припомнить, а сам даже не сообразит, о чём это Николай Макарович толкует спяну. Что помереть он когда-нибудь должен, Гриша ещё как-то запомнил, – когда? этого даже японский городской не знает, – а вот годы и дни свои он считать позабыл. Да и не отличает он уже день от ночи и год от мгновения, как не отличает меня, своего пятилетнего правнука, от пчёл, поросят, куриц и голубей. Плывет его дворик, словно ковчег, в безбрежном океане времени; блуждает по его закоулкам подвыпивший кормчий, и помнит он во хмелю только одно – что в некий час всеобщего пробуждения надо выпустить на волю всю эту излюбленную им живность, открыть клетки, летки, сарайчики и двери дома, где в отдалённой спальне обитает по ночам самое бесполезное, хотя и забавное существо...

В день, когда хоронили Николая Макаровича, прабабка моя, Анисья, потащила меня к нему в дом. За каким чёртом? А вот за таким, говорит, что с покойником попрощаться надо. Я покойников никогда ещё не видел, а Николая Макаровича (покойника) и вовсе видеть не хотел, но прабабка сказала, что попрощаться с ним *надо*, и в дом-таки меня затащила. Посреди комнаты на двух табуретках стоял гроб – очень широкий, длинный и мелкий (или плоский? а как ещё скажешь?).

Подожли мы к Николаю Макаровичу – я сразу уставился на его кадык (будь он неладен!). Он стал ещё острее, как-то окостенел и торчал выше подбородка, сильно вдавленного в шею. Вид у Николая Макаровича был недовольный, злой и даже презрительный.

– Вот торопил, торопил ты Гришу, а-а-а, – неожиданно запела прабабка, не то в укор покойнику, не то в назидание другим дедам и бабкам, которые сидели тут же по лавочкам. – Да са-а-ам первый и по-о-о-ме-е-ер.

И Николай Макарович, как будто соглашаясь с ней и в то же время досадуя, отвечал:

– Что ж, Аниська, помер я, шельмы гадские!

Дурак

Прадед Гриша никогда не ложился спать, потому что давно уже не отличал день от ночи и сон от бдения, давно потерял счёт своим годам, а под конец даже имя своё забыл. Иногда он дремал, но только сидя за столом в своём флигельке, и то если случайно забредёт в него, блуждая по двору. Взгромоздится на табурет, положит кулаки на стол, уткнется в них лбом – и так сидит час-другой. А потом снова идёт во двор, и первым делом к своим пчёлам: что-то там работает, дымарём их окуливает, рамки на свет поднимает. К ульям он подходил запросто – шляпу с защитной сеткой не надевал: пчёлы его кусали и в шею, и в уши, и в нос, но он укусов не чувствовал. Балуй мне, балуй! Вытащит из улья рамку, облепленную живыми тёмными гроздьями, поднимет её повыше и смотрит на солнце сквозь соты, наполненные лучезарной влагой. Бывало, что в этот момент я оказывался рядом (мне не всегда удавалось пробраться к ульям сквозь заросли чайных роз, которые угрожающе взрывались янтарными жужжащими осколками), и тогда кормчий взирал на меня удивлённо, долго соображая, что я за живность и откуда я вынырнул – из конуры, из курятника или прямо из летка. А вынырнул я лет пять назад из бездны, на краю которой он стоял. Он смотрел на меня, едва пробудившегося от утробной дремоты и прозревшего в ускользающей вселенной случайные ориентиры – яркие пятна разноцветных ульев, тучных пчёл в жёлтых бархатных сапожках пыльцы, изящных стрекоз и нежно пугливых ящериц, благоухающие розы, прохладную спальню в доме (что ещё?), тёплую и пахучую мякоть смолы на крышке погреба, кучу песка у ворот – эти ясные и спокойные островки, просвечивающие из темноты непостижимого хаоса, – а я смотрел на него, на свой главный ориентир, на блуждающее божество, медленно погружающееся в пучину небытия; смотрел на его огромную лысую голову, увенчанную по бокам двумя клубками волос, похожих издали на рожки – вблизи в них можно было разглядеть запутавшихся, точно в паутине, пчёл, жучков, муравьёв, стрекоз и других козявок вперемешку с мелкими цветочками, листьями и всяким мусором. Все это ещё некоторое время копошилось в его седых волосах, жило своей жизнью, когда кормчий умер, сидя за столом во флигеле в своей обыкновенной позе, – умер, застигнутый на рассвете случайной дремотой. Помню, как прабабка Анися зашла во флигель и тут же выскочила прочь. Помню, через некоторое время она вернулась и, шаркая за спиной прадеда Гриши, поминутно оборачиваясь в его сторону, что-то невнятно, с укоризной выговаривала ему. Наконец она остановилась, быстро-быстро закивала головой, а затем, выдергивая её при каждом слове вперед, закричала, закаркала прямо ему в затылок:

– Дурак! Дурак! Умер! Ай, дурак!

Развернувшись, она вышла в сени; долго гремела там ведрами, хлопала дверями – и вдруг снова заглянула в комнату. Увидев, что прадед Гриша всё так же сидит за столом, уткнувшись лбом в ладонь, она подскочила к нему и ещё решительней повторила:

– Дурак!

С первым утренним ветерком, всколыхнувшим на голове кормчего пряди волос, которые теперь потеряли упругость и развевались как-то вольно, сами по себе, в открытую форточку потянулась процессия пчёл. Они залетали, кружились, образуя над его теменем живой нимб, а затем поочередно садились на потемневшую лысину (балуй мне, балуй!) и, исполнив на ней затейливый танец, вылетали вон – взвивались в небо, где сиротливо белел тонкий месяц.

Сокровища

Во дворе прадеда Гриши жил горбатый дед Семён. Ему было триста лет. Он ел уголь и живых раков вместе с кожурою, оттого и жил долго. Прадед Гриша когда-то давно-давно поймал его сетями в речке Бакланцы. Там водились самые большие на свете раки – а горбатый дед Семён был у них царем. Он выбрался из сетей, весь в тине, в ракушках, поднял свои громадные клешни (тогда у него ещё были не руки, а клешни) и пошел на прадеда Гришу. Я тебе, говорит, сейчас голову откушу, а не то – бери меня к себе во двор, и буду я жить у тебя веки вечные. Прадед Гриша спрашивает у него: чем же я тебя, чума болотная, кормить буду? А ты мне подавай угля побольше да раков сырых, отвечает дед Семён, вот я и не умру никогда.

Привез его прадед Гриша во двор, и стал дед Семён жить в сарайчике за флигелем, где хранились дрова и уголь. Страшный он был, этот дед Семён. Голова всажена в плечи по самые уши, подбородок, подпираемый узкой и острой грудью, приподнят так, что аж затылок ложится на горб, а руки, огромные и тяжелые, торчат локтями назад и свисают за спиной едва ли не до земли. Больше всего на свете любил дед Семён рубить головы – курам, уткам и гусям. Они так сильно боялись его, что даже без голов убегали от него, бешено хлопая крыльями. А он, свирепея от радости, гонялся за ними по всему огороду, прыгал, как паук, и, падая на землю, ловил их за ноги.

В сарайчике у деда Семёна стоял большой кованый сундук. Он на нём спал и ел свой поганый уголь, раскрошив его молотком. А уж охранял он этот сундук зорко и люто, точно пёс цепной.

Прабабка Анисья говорила, что в сундуке запрятаны несметные сокровища со дна всех донских рек, что будто бы она сама видела, как по ночам в сарайчик к деду Семёну стадами приходят раки из колодца – и каждый что-нибудь несёт в клешнях: кто – золото, кто – жемчуга, кто – изумруды. А ежели кто порожний явится, того Семён-горбатый живьём сжирает, затем что он ихний царь и бог, а лет ему не триста – куды там! брешет твой Гришка! – тысяча лет ему, тысяча!

Аниська, кобыла лишайная, то и дело науськивала меня:

– Пойди, пойди к Семёну-горбату, заглянь в сундук!

Я тихонько забирался в сарайчик, пока дед Семён приманивал в огороде глупую индюшку, пряча за горбатой спиной огромный топор: це-це-це, моя золотая, иди сюда, я тебе зёрнышек дам, це-це-це.

В сарайчике было темно и душно. В сдавленных плоских лучах, пробившихся сквозь щели, сверкала угольная пыль. Я долго вглядывался в дальний угол, пока там не проступал затаившийся во мраке Семёнов сундук. На крышке висел толстый замок (пропади он пропадом!). Стараясь не шуметь, я упорно дергал его, но он не поддавался, крепко закусив в своих надменно раздутых щеках железную скобу. И вдруг голова моя озарялась изнутри яркой трескучей вспышкой.

– Что, антихрист! – слышалось мне сквозь звон, плавающий в ушах. – Ещё подзатыльника, ай хватит?!

Какой там – ещё! Хватит до чёрта. Я мигом вылетал из сарайчика, не дожидаясь, когда дед Семён надумает совсем отрубить мне голову.

Однажды Семён-горбатый так сильно замаялся от жары, что ему стало невозможно ползать по суше. Он кувыркнулся в колодец вслед за ведром – одни только сапоги мелькнули.

Во двор он больше не возвращался – уплыл в Бакланцы к своим ракам, а сундук взять позабыл. То-то мы обрадовались с прабабкой Анисьей. Побежали в сарайчик смотреть сокровища. Сбили замок с сундука, подняли крышку: сундук был до краев набит толстыми книгами, сплошь залитыми воском и перепачканными углем.

– Тыфу, сатана горбатый! – досадовала Аниська. – Нешто он их все перечитал?

– А про что в них написано? – спросил я.

– Про што-пошто! – передразнила меня Аниська. – Про то и написано, как сокровища в куриный помёт превращать. Видишь, сколь его тут кругом! Это всё – жемчуга да изумруды Семёна-горбатого. Он их заколдовал от людского глаза. Бери корзину, собирай! Снесём помет к Усатой ведьме, пусть она над ним поморокует.

Целый день я ползал по сарайчику, тускло освещённому керосиновой лампой, – собирал заколдованные сокровища. К вечеру я выбрался из него с полной корзинкой. Двор, весь залитый лунным светом, исполосованный длинными тенями, представился мне незнакомым и чудным. Я с опаской крался по кромке огорода мимо колодца. Мне казалось, что вот сейчас из его тёмной утробы извергнется громовыми раскатами голос горбатого деда Семёна:

– Куда несёшь мои сокровища, антихрист проклятый! Или тебе неведомо, что я, царь Семён, бог всех раков на свете, могу превратить тебя, анчутку поганого, в дохлую курицу!

Музыка

Прадед Гриша любил по вечерам слушать граммофон. Выносил его из флигеля, ставил на табуретку посреди клумбы и заводил музыку. Сам он в такие вечера являлся во двор в начищенных сапогах, в синих шароварах с красными лампасами и с шашкой, подвешенной на ремешке через плечо. У прабабки Анисьи от такого его вида кишки переворачивались. Она скакала по двору, плевалась и восклицала, стараясь перекрыть музыку:

– Тьфу, тьфу, видали вы его! Видали! Казак вырядился! Хо-хо! А где же твой чуб, казак? Чёрти съели и мозгами закусил – одна плешь осталась!

Прадед Гриша тем временем чинно сидел на маленькой скамеечке, подставив ухо к трубе, и сосредоточенно слушал звуки, которые один за другим вылетали из тёмного отверстия. Засовывать туда голову, как ехидно советовала прабабка Анисья, он, кажется, не собирался. Напротив, её коварные подстрекательства настораживали кормчего: в трубе сидели науськанные прабабкой Анисьей чёрти, и если бы прадед Гриша время от времени не отдёргивал голову, они бы наверняка ухватили его за пучок волос, клубившийся над ухом.

Во дворе никто не осмеливался подступить к граммофону, хотя осаждали его беспрестанно – куры, голуби, коты, кабаны и прабабка Анисья. Гриша страшал их, потрясая длинной клюкой. Если же кто-нибудь из этой своры, которая шастала вокруг граммофона с одной только целью – как-нибудь повредить или испакостить его, – оказывался слишком близко, прадед Гриша немедленно пускал в ход свою палку и тогда уже угощал всех подряд, а прабабку Анисью в особенности. Зная это, она всё время держалась в тылу вдохновляемой ею шайки вредителей, и лишь иногда, когда потерявшему бдительность стражнику случалось задремать, она, осмелев, выскакивала вперед, грозя сокрушить его крепость. Но кормчий, на беду прабабки Анисьи, неожиданно пробуждался и вынуждал её поспешно отступить со всем её воинством. Возглавляя бегство, Аниська неслась по грядкам и клумбам, пританцовывая и путаясь в своих юбках.

Между тем голос из трубы (похожий на мужской) кого-то страстно и жалобно укорял, чего-то требовал, рыдал, по-видимому, очень сильно обиженный. Потом он вдруг запел надменно и властно: очевидно, ему пришло на ум отомстить за свою обиду. Ободренный этой мыслью, он даже начал было злобно прихихатывать и изрекать какие-то страшные клятвы. Но тут же забыл их, и стал слёзно молить о прощении, уверяя, что его угрозы были всего лишь шуткой и что он по-прежнему сильно обижен и оттого очень несчастен. Другой голос (несомненно женский) ответил ему – но так, как будто он ни в чём не виноват. Он изо всех сил старался изобразить, что он ещё несчастнее первого голоса. Тот с ним не соглашался, что-то вставлял, пытаясь, как видно, напомнить о своих обидах. Так и не договорившись, кто же из них несчастнее, они вдруг запели вместе – но каждый о своём, совсем не слушая друг друга. Они пели все громче и неистовей, обращаясь наперебой к прадеду Грише; они требовали, чтобы он немедленно рассудил их. Но кормчий уже не слушал их взаимных упрёков, жалоб и наветов. Его одолевала дремота, нахлынувшая на него внезапной волной из тёмной бездны, которая день и ночь отвоёвывала для себя этот блуждающий остров, размывая его дремучие берега, пока однажды на рассвете не поглотила его целиком.

В сгущавшихся сумерках прадед Гриша сидел неподвижно, опершись на рукоятку шашки и свесив на грудь лысую голову с рожками курчавых волос, где сонно копошились, устраиваясь на ночлег, пчёлы, стрекозы, жуки и кузнечики.

Меня, как и всю дворовую живность, Гриша не подпускал к граммофону, и я мог смотреть на этот заветный ящик только издалека.

Когда же прадеда Гришу унесли со двора под грохот барабана и пронзительный вой трубы в сопровождении длинной колонны дедов и бабок, которых Аниська натаскала к нам со всей

окры прощаться с покойником Гришей, я первым делом выволок во двор граммофон, отыскав его в тёмном углу опустевшего флигеля, где стоял ровный запах растоптанных цветов и свежих простыней. До позднего вечера я разбирал граммофон на части, орудуя кочергой и лезвием тупки. Я выпотрошил из него все внутренности, но так и не извлек на свет таинственных голосов. Те двое, которые много лет пререкались, осыпая друг друга то нежными жалобами, то проклятиями и угрозами, сгинули вместе с прадедом Гришей.

Видение

Прабабка Анисья (чтоб ей лопнуть!) посылала меня к Усатой ведьме покупать семечки. Ведьма сидела на высоких каменных ступеньках у дверей своего дома, подпирая коленями громадный живот, туго обтянутый насквозь прожжённым, перепачканным сажей фартуком. Из распахнутых дверей, занавешенных грязной марлей, валил благоуханными клубами горячий дым; лоснясь на солнце, он пропитывал знойный воздух жирным запахом раскалённых сковородок и противней. В доме Усатой ведьмы было полно чёртей. Они жарили семечки, а ведьма их продавала – сыпала в карманы, в подолы, в фуражки – кому куда.

Пока я взбирался к ней по крутым ступенькам, она, казалось, не замечала меня. Тускло-желтые глаза её, облепленные комарами и мухами, были полуприкрыты. Ведьма протяжно храпела, содрогаясь, точно скала, и покачиваясь в медленных волнах марева. В широких и редких усах её, в глубоких складках на шее мутно блестели крупные капли пота. Я осторожно вкладывал в её ладонь прохладные монетки, и ведьма с неожиданной проворностью хватала меня за пояс штанов.

– В карманы стервецу! В карманы! – страшно вопила она.

И карманы мои разбухали, наполняясь дымными и горячими, как угли, семечками; они припекали мне низ живота и яички, – казалось, штаны мои вот-вот запыхают от этих чёртовых семечек. Я вырывался и бежал прочь, ощущая пятками сухую колкость раскаленной земли.

– Стой, стой, сукин кот! – кричала ведьма мне вдогонку. – Скажи Анисье, умрёт она скоро. Завтра умрёт, дышло ей в валенок! Я приду её мыть-наряжать.

Прабабка Анисья, с ног до головы засиженная курами, засыпанная пухом и перьями, валялась на раскладушке в тёмном зловонном курятнике; с некоторых пор она не вылазила из него ни днем ни ночью, потому что там ей было прохладней, и домовой не приходил её душить, а только заглядывал в маленькое окошко, чихал, плевался и, напугавшись разбуженных петухов, убирался восвояси, страшно злой на Аниську.

Я заскочил в курятник, приплясывая от радости, и с ходу сообщил Анисье, что больше не буду таскать ей семечки от – ведьмы.

– Эт еш-шо почему?! – всполошилась Анисья.

– Потому что ты завтра умрёшь совсем, и тебя снесут куда-нибудь со двора.

– Ну да! – изумилась Анисья. – А Гришка-то наш помер чи лазит где-сь по двору? Чёй-то я не видала его.

– Давно уже помер, – отвечал я. – И Николай Макарович помер. Все померли. Одна ты ещё не померла. Иди мойся и наряжайся, а то ведьма придет, схватит тебя за волосы и будет окунать в бочку с водой, как кошку драную.

На следующее утро соседские деды, негромко переговариваясь и угрюмо командуя друг другом, вытащили прабабку Анисью из курятника и понесли в дом на ветхом одеяле; оно туго и глубоко провисало от неподвижной тяжести.

К полудню во дворе собралось множество дедов и бабок. С выражением грозной деловитости на лицах они вольно расхаживали по дому, по флигелю, топтались у распахнутых настежь ворот. Анисья, чистая и нарядная, в белой косынке, из-под которой торчала, накрывая лоб, бумажная лента, лежала в коротеньком тесном гробу, приютившимся на табуретках под вишней в жидкой дремотной тени истомленного зноем сада. Усатая ведьма сидела рядом на низенькой скамейке и неспешно раскуривала папиросу, пуская из ноздрей шумные струи дыма.

– Было мне видение, Анисья, – рассказывала она, наклоняясь ко гробу. – Пришла ты ко мне и тихим таким голосом просишь: дай мне, Варвара Андреевна, мыло и белый полотенчик. А на что они тебе, спрашиваю. Хочу, говоришь, Гришку помыть. Он, прохвост, напился пьяный и в помойную яму свалился – вымазался весь, как собака. Да что ты, говорю, дура старая

надумала? Он же-ть помер давно, я сама его мыла и одевала ко гробу, а гроб той закопали глубоко-глубоко. А и ничиво, говоришь, что помер. Я вот возьму лопатку, откопаю его и намою, напарю его косточки, будет ему, дурню, веселей. Проснулась я и думаю – помрёт Аниська, туды ж её мать. Вот ты и померла, козочка. Отскакалась. Отнесем тебя, закопаем рядом с Гришкой – тот-то напаришь его, балбеса.

Прабабка Анисья слушала Усатую ведьму и чему-то внутри себя ласково улыбалась открытым ртом и запавшими глазами.

Счастье

Ходил по дворам с попугаем Егором Феликс – слепой шарманщик. Глаз у Феликса не было смолоду. Он сам себе их выколол от сильной любви. Полюбил одну красавицу – а она оказалась княгиней. Когда Феликс был молодой, у нас в станице ещё водились княгини – злые такие красавицы: как кто полюбит их, так и смотрит на их красоту, пока не умрёт. А эта была до того красивой и гордой, что и смотреть на неё не было сил. Взял тогда Феликс и выковырял свои глаза острым ножиком, чтоб совсем не умереть от любви к той княгине. А назло ей сделался шарманщиком, хоть и сам был большой генерал. Он так и ходил по дворам в генеральской форме – в длинной серой шинели и в фуражке с лакированным козырьком; не снимал их ни зимой, ни летом, потому что под шинелью был он совсем даже голый, а фуражка Феликсу всегда была нужна – в фуражку ему денежки бросали.

Феликс продавал свистульки из глины, колокольчики, дудочки, барабаны и шарики из разноцветной фольги на резиночке. Как занесёт он всё это во двор – и сразу делается во дворе очень шумно и весело. Шарманка играет без умолку – дринь-ля-ля, дринь-ля-ля! Попугай орёт во всю глотку: «Ждрасти, народ! Феликш-ш пришел!» А Феликс крутит и крутит свою шарманку, звенит в колокольчики, играет в дудочку, ударяет тросточкой в барабаны. Дринь-ля-ля, дринь-ля-ля!

А ещё продавал Феликс счастье. Про счастье он знал всё – какое оно и сколько его на свете. У Феликса этого счастья была целая коробка. Бывало, спросят его:

– Ну что, Феликс, счастьем будешь торговать?

– А то как же! – улыбается Феликс. Сам улыбается, поворачивая лицо во все стороны, а глаза его – мертвые ямы – молчат, точно каменные, и ничуть не улыбаются, хоть и пляшут над ними задорно, играют и веселятся во всю широкие светлые брови.

Достанет Феликс из мешка заветную коробку и спросит у попугая:

– А что тут у нас, Егорушка, в коробочке?

– Щастье! Щастье! – кричит попугай. И деловито вышагивает по Феликсову плечу; важничает, вертит головкой, хлопает крыльями.

– А кому мы дадим счастье, Егорушка, кому?

Попугай выхватит клювом из коробки бумажку, свернутую в трубочку, и давай летать с нею по двору. А в бумажке той написано про счастье – какое оно и сколько его на земле.

Все зовут, манят к себе попугая:

– Сюда, Егор, сюда! Я тебе гривенник дам!

– Лети ко мне, Егор! У меня полтинничек!

– А рублика хочешь, Егор! А ну-ка, рублик у меня!

Рублик всегда был у деда Семёна. Ему и счастье всегда доставалось. Сядет попугай прямо к нему на голову, изогнётся весь и суёт ему под фуражку счастье. Запихнет его поглубже, да ещё приточет лапами. Береги, мол, дед Семён, своё счастье. А потом спрыгнет к нему на колено и сидит смирно – рублика ждёт. Дед Семён полезет в штаны, достанет целую горсть разных монеток – и медных, и серебряных. Попугай разгребает их клювом, на медные монетки злится, швыряет их по сторонам, а как рублик найдет – хватъ его в клюв – и к Феликсу в фуражку. Тут уж все смеются и хвалят попугая:

– Ишь ты, мошенник, рублика знает!

Старики накупят мне у Феликса и шариков, и дудочек, и свистулеч, – но Феликс всё ещё не уходит со двора. Поигрывает на шарманке. И вдруг начинает петь про свою княгиню. Он поёт молодым девичьим голосом; широко открывая рот, выталкивает из груди сильные пронзительные звуки, и громкая песня его разносится по всей округе:

Ваша светлость, княгиня Орлова!
Вас любил удалой есаул.
Был он вашей красой очарован,
Был он весел, беспечен и юн!

А теперь он шарманщик убогий.
По дворам волочит он суму,
Он пришёл поклониться вам в ноги,
Христа ради подайте ему!

О любви он не молит, как прежде,
Не клянет своих тягостных мук.
Вам шарманка поет о погибшей надежде,
Христа ради подайте ему!

Замолкая на минуту, Феликс наклоняет лицо к шарманке и жадно слушает однообразный и неутолимо горестный мотив, безучастно kloкочущий в её звонких внутренностях.

«Дринь-ля-ля! Ля-ля! Дринь-ля-ля!» – стрекочет шарманка. Феликс неожиданно вскидывает голову и, сильно раскачивая её, вытягивая шею, поет куда-то в небо:

Не рассеете мрак вечной ночи
Ненаглядною вашей красой,
Чёрный нож исцелил его очи,
Напоив их кровавой слезой.

«Дринь-ля-ля! Ля-ля! Дринь-ля-ля!»

Словно упиваясь охватившим его отчаянием, Феликс все быстрее и быстрее поворачивает ручку, заставляя шарманку издавать звуки, исполненные безнадежно ликующего веселья:

Так зачем же приходит к вам снова,
Молит вас о любви есаул?
Ваша светлость, княгиня Орлова,
Христа ради подайте ему!

Собрав из фуражки монетки, Феликс уходит со двора, увозя за собою тележку с шариками, барабанами и свистульками.

А через несколько минут откуда-то из соседних дворов снова доносятся возгласы попугая: «Щастье! Щастье!» И снова поёт Феликс о любви, о своей ненаглядной княгине и о вечной ночи.

Кража

Прабабка Анисья не пускала Гришу в дом ни зимой, ни летом.

– Чё ему там делать, – говорила она. – Пусть вон шлындает по двору.

А прадед Гриша любил захаживать в дом – смотреть на китайских болванчиков. У Аниськи их было пропасть. Они толпились на этажерках, восседали на полке над кожаным диваном, выглядывали из буфета и горки. Дамы в пурпурных и ярко-зелёных одеждах, ошестившись высокими воротничками, жеманно качали головками и ажурными веерами; им кивали толстые полуголые кавалеры в разноцветных браслетах и бусах с мясистыми ушами, свисающими на круглые плечи.

Болванчики так сильно забавляли кормчего, что он мог бы часами любоваться их пляской, раскачивая этажерку или буфет, если б только прабабка Анисья не выталкивала его потихоньку вон из дома.

Однажды прадед Гриша взял мешок, собрал в него болванчиков – всех до единого – и унёс к себе во флигель. Анисья хватилась их – да поздно. Кормчий заперся с болванчиками во флигеле и ни за что не хотел выходить. Прабабка Анисья бегала по двору и кричала что есть мочи:

– Гришка, лысый чёрт, обокрал меня дотла!

Прадед Гриша расставил болванчиков на столе; двоих, самых невзрачных, он кинул в форточку Анисье, думая, что она уgomонится. Но прабабка Анисья озлилась ещё больше. Она схватила дымарь, разожгла его и принялась выкуривать Гришу из флигеля, пуская струи дыма в широкую щель под дверью.

Дым был кормчему нипочем. Он сам его глотал из трубки. А дымарем окуриваться даже любил. Бывало, раскочегарит его так, что аж искры летят из носика, и ходит с ним между ульев – то на пчёл его направит, то на себя. А если я подвернусь, он и меня обдаст душистыми клубами, воображая, что я какая-нибудь диковинная пчела.

Не замечая, что во флигеле уже темно от дыма, Гриша сидел за столом и развлекался болванчиками; он бахал ладонью по крышке стола, и все собрание дружно приходило в движение. Каждый показывал Грише, во что он горазд: один нырял головкой в плечи, другой размахивал пухлыми ручками, а иной сидел и раскачивался из стороны в сторону, изображая мудрёный танец. Из всех болванчиков кормчему нравились те, что были ярче раскрашены, потому что они бодрили его старые глаза, в которых день ото дня меркли все краски полуденного мира, дробясь и расплываясь тусклыми осколками.

Убедившись, что Гришу не выкурить никаким дымом, прабабка Анисья привела из загона огромного кабана, самого злостного участника наскоков на Гришин граммофон; он был предан Анисье всем сердцем, а Гришу угрюмо ненавидел за то, что тот чаще других угощал его палкой. Анисья разогнала кабана во всю прыть, пихая его ногами в задницу, и он с воинственным визгом въехал всей тушей во флигель, проломив дверь с одного удара. Кормчий, застигнутый врасплох, не сдвинулся с места. Анисья ворвалась во флигель, сгребла у него под носом всех болванчиков к себе в подол и радостная побежала с ними в дом, тыкая дулей во все стороны.

Кикимора

Бабку Муху, нечисть ехидную, давно надо было прогнать со двора, чтоб она умерла где-нибудь и закопалась в могилу. Это была Аниськина бабка Муха. Аниська сама её родила, объелась до коликов ведьминых семечек и выродила на свет эту кикимору.

Бабка Муха с Аниськой так сильно полюбили друг дружку, что даже целовались однажды. Аниська первая целовала Муху в её безобразную рожицу с маленьким острым носиком и раздутыми, точно шарики, щеками, целовала и приговаривала:

– Христоси воскреси! Христоси воскреси!

– Воистину воскреси! – поддакивала бабка Муха. И целовала Аниську, поднимаясь на цыпочки, чтоб дотянуться до её подбородка. А потом, изловчившись, ударяла Аниську по лбу пурпурным яйчком; Аниська вместо, того чтоб обидеться, сияла от радости и угощала бабку Муху пряниками и конфетами, подносила ей медовуху в граненой рюмке, а Муха кланялась ей и бормотала скороговоркой:

– Дай Бог тебе здоровьица, Анисья Семёновна.

Муха и Гришу била яйчком по лбу, воображая, что он даст ей за это медовухи или пряничка. Но прадеду вовсе не нравилось, чтоб об его лоб кололи яйца. Он страшно злился и отгонял бабку Муху, ругая её курвой.

Бабка Муха ничего не делала целыми днями, а только шастала с бидончиком во флигель и воровала у Гриши мёд. Гришиным пчёлам от этого было очень обидно. Они люто ненавидели бабку Муху и воевали с ней неустанно. Бывало, так покусает её, что у неё вся рожица светится красными шишками.

Вот она и взялась однажды губить Гришиных пчёл. Разложит возле ульев арбузных корок, пчелы насядут на них полакомиться, тут она как выскочит из-за кустов и давай топтать их ногами. Пока другие пчелы опомнятся да разберутся, куда её, зануду, кусать побольней, она уже шаст в погреб, закроется там и сидит молчком, выжидает, когда пчёлы позабудут про её злодейство.

Подавила она таким ехидным манером великое множество пчел.

Кормчий прознал об её пакостях и очень огорчился. Стал он думать, как бы известить бабку Муху со двора. Хотел было отдать её Николаю Макаровичу, чтоб он посадил её на цепь вместо издохшего кобеля, пусть, мол, она бегает у тебя по рыскалу и гавкает на всех день и ночь. Но Николай Макарович сказал, что у него своей нечисти полный двор – одних чёртей в трубе сто штук сидит.

– На кой мне хрен кикимору ещё заводить? Воюй с ней сам, Григорий Пантелеевич!

Пошел тогда прадед Гриша к домовому. Домового нашего звали Ефрем Савельевич. А жил он в низах – в особой комнатке под половицами. Днем он там пил чай от скуки, а ночью ходил душить Аниську – навалится на неё, огромный такой, лохматый, и давай её пытать: чего тебе, Аниська, дать? Мешок золота или мешок дерьма? Как скажет она – золота! – так он её душист, аж кости у неё трещат; а как закричит – нет! нет! Ефрем Савельевич, батюшка родный, дерьма давай, дерьма! – так он её отпускает. То-то, мол, Аниська, смотри у меня!

Поклонился прадед Гриша домовому и говорит:

– Научи меня, Ефремка Савельевич, как мне от Мухи поганой избавиться. От нее ж, подлюки, житья моим пчёлам нет: вон уж сколько передушила их, хоронить друг дружку не успевают.

Отхлебнул Ефрем Савельевич чайку, попыхтел, пофыркал и говорит:

– Ступай себе, прадед Гриша, во двор и не тужи, а я с твоей кикиморой сам, так и быть, потолкую ночью.

– Ладно, – согласился прадед Гриша, – потолкуй. А я тебе за эту услугу медку под половицы налью – будет тебе, Ефрему Савельевичу, сладко чаёк свой пить.

На том и порешили.

Спала бабка Муха в доме на полу, а на оттоманке спать не хотела, потому что над оттоманкой висела Гришина шашка. Муха боялась ее, как чёрта.

– Кто-е знает, – говорит, – а ну как эта гадина соскочит со стенки и зарубает меня на куски.

Вот и явился Ефрем Савельевич бабке Мухе в образе шашки.

Наутро она рассказывала Аниське:

– Вознёсси надо мной, Анисья Семёновна, меч Господний... Гляжу сёдни ночью, блеснуло чёй-то в уголку. Никак, думаю, светляки налетели в хату. Или померещилось чего со сна? Перекинулась на другой бок, а оно – вот оно: в другом уголку сверкает. Тьфу, напасть, думаю, светляки! Дай-ка встану, пошурю их метелкой. Как вдруг вижу, выплывает из угла меч, весь будто огненный. И летит он сам собою по воздуху... Да прямо на меня летит – и надо мной останавливается. Я туда, сюда – он за мной. Всю-то ночь металась я от него по полу, ажнок взмокла вся... А никуда от него не деться, ибо он меч Господний и волю Его творит. Прибрать меня решил Отец наш небесный, знак мне подает... Пойду я от вас со двора, Анисья Семёновна, поищу себе местечко на погосте да там и останусь.

К вечеру Муха собрала в узелок свои тряпки, поклонилась всем, даже кобелю, который маялся от скуки возле будки, и поплелась тихонько за ворота, кроша на землю мелкие слёзки. Видно, жалко ей было расставаться с душистым Гришиным мёдом, с его светозарным двором, не хотелось залазить на ночь глядя в темную могилу.

Тот свет

Кум дед Проня заползал во двор на четвереньках – до того он хмелел от медовухи, что ему скучно было ходить на двух ногах. А приползал он затем, чтоб рассказать Аниське историю, каждый раз одну и ту же: про то, как он повесился на чердаке.

Прабабка Анисья говорила, что у нее от этой истории печёнка наружу выворачивается, так она ей осточёртела. Но отвязаться от кума деда Прони не было никакой возможности: пока не расскажет, домой не уползёт.

– Вот, это, Аниська, надумал я повеситься... Слушай сюда.

– Хай тебя чёрт забодает! – возражала Аниська. – Чё мне глаза твои залитые слушать?!

– Вот именно – чёрт! – радостно подхватывал дед Проня. – Чёрт меня и подслушал. Я только подумал ету думку, а он уж и обрадовался. Вот и хорошо, говорит, Прокопий Никитич, вот и молодцом ты надумал. Мы тебя и повесим аккуратно. Ты только думай, говорит, свою думку, а мы уж всё исполним по совести. Ладно. Слушай сюда. Тельнякаюсь я, это, ночью с поминок, а чьих – уж не помню. Темень кругом собачья, дороги не видать. Хотел я было прилечь где-нибудь, полежать маленько до света. Тут меня хватают под руки какие-то чудики. Побежали, говорят, скорей, Прокопий Никитич, пора! Погоди, говорю, вы кто? Анчутки, что ли? Так точно, анчутки и есть! Только, мол, некогда нам, Прокопий Никитич, здороваться – поспешать надо, бегом бежать. Как же – бегом? – говорю. У меня вон и ноги устали телепаться. А ты подгибай их, Прокопий Никитич, мы тебя под руки мигом снесём. Слушай сюда. Подогнул я ноги, а тут и третий анчутка вынырнул, ихний товарищ. Подлез он мне промеж ног, подлец, и оказался я на ём верхом. Вот и понеслись мы все вчетверёх – да так скоро, весело, с прискоком. Я верхом, те двое под руки меня держат да товарища своего погоняют, ай-лю-ли! Въехали мы во двор. Слышу, они меж собой совещаются: куда его? на чердак, что ли? Давай на чердак. Не желаешь ли, говорят, Прокопий Никитич, на чердаке приладиться? А хоть и на чердаке, говорю, бог с вами. Взметнулись мы туда по лесенке – пока я очухался, они уже всё наострили, поганцы, и веревку подвязали, и скамелечку подставили. Ну, говорят, Прокопий Никитич, погибай, задушевный ты человек! А мы тебе спляшем напоследок. Тут их повылазило со всех углов – анчуток-то етих – видимо-невидимо! Как взялись они хоровод водить да гоцать по чердаку вприсядку, аж крыша вся закачалась. Вот я под ету музыку и ухнулся в петельку... А как снимали меня – не помню. А только говорят, что бабка моя топотню услышала, проснулась да подняла весь дом – успели меня выдернуть тёплого ещё...

Кум дед Проня замолкал, стягивая нижней губой с усов сладкие и горячие от медовухи слёзы. Глаза его влажно искрились и смотрели прямо перед собой, будто в стену.

– Я ведь, Аниська, тот свет видел, – припоминал дед Проня.

– Ну и чё там, на том свете? – нехотя интересовалась прабабка.

– Темно там, Аниська, темно и безобразно!

Песня

Всем было жалко, что прадед Гриша умер – и бабкам, и дедам. Они сидели во флигеле кормчего и пели грустную песню о нём.

– Бедный прадед Гриша, – пели они, – зачем же ты, родненький, лежишь в гробу? Зачем не ходишь по двору? Там вон пчёлы твои жужжат и горюют – не знают, куда без тебя лететь. Ай-ёй, бедный прадед Гриша!

Маленький сгорбленный дед, сидевший возле печки, не знал, как надо петь песню, но ему тоже было жалко прадеда Гришу, и он усердно тянул один звук, приладив его к общему хору:

– Ай-ёй! Ты вставай, прадед Гриша, иди и спрячься в сарайчике у Семёна, а мы положим во гроб полено, накроем его простынёй да снесём со двора вместо тебя.

Гроб стоял на столе. Кормчий лежал в нём, протянувшись всем ростом: какая-то неумолимая сила вдавила, вмяла его могучие плечи и голову в широкую подушку, припечатала к белой наволочке сплюснутые клубки волос.

Во флигеле было светло от оголенных окон, но бабкам и дедам хотелось ещё больше света, они держали в руках зажжённые свечи, излучавшие тонкие ароматные струи тепла. Трепетные огоньки отзывались нежным мерцанием на их голоса.

– Слышишь ли ты нашу песню, прадед Гриша? Слышишь, как воеет у печки маленький дед? Если слышишь, то хоть бы рукою пошевели, хоть бы глаза приоткрой на минуточку. Ай-ёй!

Деды пели сдержанно; едва шевеля губами, они гудели в усы и бороды. А бабки все разом ударили звучными голосами, отдёргивая вниз маленькие круглые подбородки.

– Крепко ты задремал, прадед Гриша, – пели они, – так крепко, что стал покойником. И вот мы пришли попрощаться с тобой, ай-ёй, попрощаться с покойником Гришей.

Прабабка Анисья сидела у гроба с красными осохшими глазами; она всё ещё злилась на кормчего за то, что он придумал себе умереть, она злилась, но песня о прадеде Грише исходила в её сердце животворную нежность, и Аниська, забывая обиду, пела со всеми вместе:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.